

ТАМАРА НИКОНОВА

«ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕКСТ»: ОБРАЗЫ И ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ



Научная периодика последних десятилетий пестрит определениями, образованными по аналогии со знаменитым «петербургским текстом» – понятием, введенным В.Н. Топоровым в 1970–1980-е годы и дружно подхваченным исследователями едва ли не всей страны. Так родились «пермский», «московский», «крымский», «орловский» и прочие локальные тексты. Но, как нередко бывает, авторы, вводящие новые «локальные» термины, зачастую останавливаются на фиксации имени региона, края, на краеведческих материалах, не углубляясь в разработку нового понятия, девальвируя и сам термин. А между тем «петербургский текст» (термин и понятие) точен и содержателен, имеет свою непростую историю, в том числе и эмоционально окрашенную. Например, М.С. Уваров в монографии «Поэтика Петербурга: Очерки по философии культуры» (2010) указывает на «трагический Петербург», изображенный в приоритетных работах В.Н. Топорова, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, С. Волкова – классиков такого подхода в отечественном петербурговедении. Локализация термина по имени города меньше всего свидетельствовала о его «географической» привязке. Напротив, формирование «петербургского текста» было мотивировано в конце XIX века растущим интересом к региональной культуре и литературе, к необходимости изучения её гуманитарных и социальных контактов. Так, В.Н. Топоров констатировал, что Петербург познал самого себя «из русской художественной литературы», а позже «Россия пыталась осмыслить суть своей природы, понять последнее слово о себе самой в свете феномена Петербурга, столицы Российской империи». Таким образом, понятие «петербургский текст» включает отчетливую и «государственническую» составляющую, поскольку речь идет о сто-

лице. Исходя из междисциплинарной природы вводимого понятия, В.Н. Топоров трактует «петербургский текст» как «устройство, с помощью которого и совершается переход а realibus ad realiora, пресуществление материальной реальности в духовные ценности» (курсив мой. – Т. Н.).

Мысль об «инструментальной» природе вводимого понятия органична и закономерна, определяет логику развития и прочих «локальных» текстов. Эта логика отсылает не только к литературному опыту русских писателей, но и к критической рефлексии начала XX века, когда возникла мысль о феномене Петербурга, реализовавшего себя и в пространстве города, и в мире культуры. Первыми на этом пути оказались работы Н.П. Анциферова «Душа Петербурга» (1922) и «Быль и миф Петербурга» (1924). В полном согласии с междисциплинарной природой разрабатываемой проблемы в названии статей с именем города «сотрудничают» «душа» и «миф», словно готовя отсылку В.Н. Топорова к Вяч. Иванову, к эпистемологической интенции символизма («а realibus ad realiora» – «от реальности к реальному»). Отсюда путь к более позднему рефлексивному источнику «петербургского текста», к позднему структурализму и усилившемуся увлечению литературной науки мифологием. В.Н. Топоров указывает: «Текст ... обучает читателя правилам выхода за свои собственные пределы, и этой связью с внетекстовым живет и сам Петербургский текст, и те, кому он открылся как реальность, не исчерпываемая вещно-объектным уровнем» (курсив мой. – Т. Н.). Исследователем подчеркнута направленность познавательной интенции вводимого им понятия – от текста к локусу, преобразованному («пресуществленному») в новое качество. Несомненный интерес в таком контексте представляет Петербург не только как место действия художественного тек-

ста («пресуществленное» пространство), но и как *город, регион* – новое гуманитарное, социальное единство, теснейшим образом связанное с людьми, их мировосприятием. В этом случае изучение литературы и культуры родного края не может быть ограничено собиранием и сохранением отдельных фактов, мифов и легенд. Системный подход к такой работе есть часть большой работы по постижению национальной истории и культуры, результатом которой становится постижение своей национальной идентичности.

Следует отметить, что именно так – широко и значительно – разворачивалось изучение локальных текстов в начале XX века. В качестве примера из числа исторически сложившихся назову сибирское областничество – общественно-политическое регионалистское движение второй половины XIX – начала XX века, возникшее в Сибири. Главная интенция, заложенная в идеологии этого движения, – осмысление культурной идентичности региона в рамках единой государственной культуры и истории России. Сибирские «областники» оформили свое движение и учение в 1850–1960-е годы, на волне раннеалександровской либерализации, в период преодоления наследия николаевской эпохи. Они с полным правом считали себя выразителями интересов и потребностей именно провинциальной культуры, акцентируя внимание на культурной и политической самостоятельности Сибири. Намеренное противопоставление периферии центру, провинции – столице и придавало этому умонастроению оттенок сепаратизма (вспомним «государственнический» аспект «петербургского текста»), но и, что немаловажно для нас сегодня, значительно расширяло исследовательскую базу истоков региональной культуры.

Не входя в рассмотрение этой в целом простой исторической тематики, к тому же неплохо описанной в специальной литературе, отмечу лишь несомненную связь «областнического» движения со временем общественных перемен или предощущением их. Кризисные эпохи имеют тенденцию к расширению привычных пределов в разных областях, едва ли не в первую очередь – в культуре. И «локальные тексты» становятся, если использовать определение В.Н. Топорова, тем «*устройством*», с помощью которого и осваиваются вновь открывающиеся источники.

* * *

История XX века – непрекращающаяся цепь революций и кризисов – не просто выстраивала свои отношения с региональными движениями, и едва ли не в первую очередь в области культуры. Например,

стремление понять и описать самобытность своего края через его культуру и историю в 1920-е годы, сразу после революции и гражданской войны, было воспринято новой властью как «провинциализм» и архаика, следовательно, – реакция и сопротивление прогрессу (революции). Такая позиция творцов новой идеологии объясняет критическое отношение, а несколько позже и открытое государственное преследование всех краеведческих («локальных») проектов советского времени. Исторически сложившиеся формы жизни и общественного управления, мультикультурные связи не только с Европой на рубеже 1920–1930-х годов ассоциировались в сознании творцов советской государственности с «сепаратистскими тенденциями», с «евразийскими концепциями», а потому получили политические определения антинаучных, антимарксистских, реакционных. В таком контексте в «деле краеведов», шумевшем как раз в эти годы, упреки в «провинциализме» и отсталости равнялись политическим обвинениям.

В конце 1920-х годов наступление на краеведов вступило в организационную, заключительную, стадию. В Институте литературы и искусства Коммунистической академии была создана Секция писателей-краеведов (1928), перед которой ставилась задача борьбы с враждебными классовыми настроениями в национальных культурах. Наиболее показательным и результативно пафос такой борьбы-работы продемонстрирован в «Злых заметках» Н.И. Бухарина и подобных им разоблачительных выступлениях других советских идеологов. В апреле 1929 года решением Пленума ЦК ВКП(б) академическое краеведение было объявлено гребкопательским, непролетарским, многие его деятели были физически уничтожены. Советское краеведение сосредоточилось в «Обществе краеведов-марксистов» (ОКРАМ) Комкадемии и попыталось озаботиться тем, чтобы не превратиться в отделение Общества пролетарского туризма.

Разумеется, нельзя утверждать, что провинция и провинциальное сознание не давали оснований для пренебрежительного к себе отношения. Противостояние *столица/провинция* имеет давнюю историю, начало которой – совсем не в 1920-х годах. Устойчивые житейские коннотации всегда ассоциировали провинцию с «захолустьем», с его «зверинной» жизнью – вспомним «карьеру» Анфима Барыбы из «Уездного» Е. Замятина. Другой герой этой же повести болезненно ощущал собственную провинциальную удаленность от бурной общественной жизни столиц: «Мы вроде, как во град-Китеже на дне озера живем: ничегошеньки у нас не слышать, над головой вода мутная да сонная. А наверху-то все полыхает, в набат бьют».

«Столица», «центр», по мнению провинциалов, обеспечивали политическую активность, открывали возможности для образования, личностного роста. Такую оценку периферии, многократно зафиксированную литературой, укорененную в житейском сознании, нельзя сбрасывать со счетов. Пример, из числа легко приходящих на память, – герои А.П. Чехова. Остро ощущают гибельность своей провинциальной жизни герои его драматургии («Иванов», «Три сестры», «Вишневый сад»). Руководствуясь этой же логикой, уезжает в Петербург героиня позднего рассказа «Невеста» (1903), «едет на волю, едет учиться», «и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная». Общая интонация рассказа, уверенность героини в исполнении её надежд не имеют ничего общего ни содержательно, ни эмоционально с петербургским опытом героев Гоголя и Достоевского, с «петербургским текстом», о котором идет речь. Напротив, в сознании чеховской героини антонимическая пара *столица/провинция* включает эмоциональное противостояние простора и тесноты, жизни и умирания. Именно эта, более поздняя традиция восприятия столицы, не апеллирующая к Башмачкину или Раскольникову, и была активно использована в ранние советские годы. Так, комиссар Чубарьков из повести Л. Кассиля «Кондукт и Швамбрания» (1930–1933), не только «двигает» в маленьком городке революцию в массы, но и обозначает собственные личностные перспективы: «...я, как только немножко управимся, тоже поеду в Питер учиться» (курсив мой. – Т. Н.).

Восприятие столицы как центра знаний в первой половине XX века рождало заниженную самооценку провинциала, получало идеологическую поддержку в крепнущей директивной и центристской концепции советской литературы и культуры в целом. Соотношение *провинциальный vs. идеологически отсталый* закрепилось на несколько десятилетий в советской жизни и литературе, лишив «локальный текст» каких-либо позитивных коннотаций. Приоритет столичного (читай: государственного) обрел силу закона.

В условиях тоталитарного государства единые бюрократические формулировки «работали» во всех областях жизни. Сатирическая и озорная повесть нашего земляка Андрея Никитовича Новикова (1888–1941) «Причины происхождения туманностей» (1929) наглядно демонстрировала универсальный бюрократический механизм взаимоотношений столицы и провинции. В повести А. Новикова сотрудниками учреждения, название которого уже само по себе есть бюрократический шедевр («Центральное управление по рационализации маломощных хо-

зяйств и по распределению предметов массового потребления, а сокращенно – Центроколмасс»), расположенного в самом центре Москвы, «было последовательно доказано, что в общем и целом руководство центра было надлежащее, а работники мест – малокультурные». В соответствии с этим столичными бюрократами «было решено экстренным порядком вызвать в центр работников мест, дабы приблизить аппарат центра к массам». Для А. Новикова замысловатая формулировка «центроколмассовцев», не желающих покидать пределы Москвы даже в командировку, – естественная бюрократическая уловка, которой, в духе времени, придан демагогический (т.е. политический) смысл. Этот же «руководящий» акцент делает Андрей Платонов (1899–1951) на миссии Ивана Федотовича Шмакова, едущего из столицы, «чтобы врать в губернские дела и освежить их здоровым смыслом» («Город Градов», 1927).

Разумеется, при абсолютном диктате «центра» никакое независимое, самостоятельное развитие «провинции» было невозможно. Понадобились десятилетия, чтобы культурное и общественное сознание обратилось к «периферии» не как к антиподу «столицы», а как к полноценному и важному комментарию многих фактов и обстоятельств «большой» истории, литературы и культуры, как к не использованному источнику новых тем и сюжетов. И лишь на волне общественных перемен конца XX – начала XXI века «местнографические» материалы оказались востребованными и актуальными. Привычный краеведческий дискурс в эти годы получил отчетливый философский крен. Неизвестные культурные факты, добытые в результате краеведческих разысканий, сегодня требуют объективных оценок, системного описания.

В таком контексте введение нового исследовательского аспекта в работу воронежских филологов оказалось необходимым. Изучение «локальных текстов», отдельных фактов и феноменов «местной» истории культуры – одно из важных направлений развития современной гуманитарной науки. «Воронежский текст» – в этом ряду. Опираясь на уже имеющиеся «местнографические» материалы – записи фольклорных экспедиций, разыскания краеведов, собственно филологические исследования творчества писателей, так или иначе связанных с воронежским краем, – он должен включить их в современные контексты, осознать как органическую часть единой культурной истории страны.

Первый выпуск сборника научных статей ««Воронежский текст» русской культуры» (2011) был посвящен разработке контекстных связей собственно воронежского материала с «большой» литературой,



«Воронежский текст» как объект исследования: издания местных филологов

с историей и культурой Черноземья. В этом сборнике появилась необходимость осмыслить соотношение «Воронежского текста» с более широким понятием – «провинциальный текст» – современным литературоведением. Эта мысль легла в основу второго сборника ««Воронежский текст» русской культуры: провинциальность как эстетический код литературы XX века» (2013).

Итога опыт формирования понятия «Воронежский текст», отмечу, что он соотносим с логикой и опытом исследования иных «локальных текстов». Это путь, условно говоря, от географии к мифологии, от собирания конкретных фактов к их систематизации, к осмыслению собственной «легенды местности». Направление поисков подсказывает накопленный материал – фольклорный, краеведческий, литературный. В нем нетрудно обнаружить связь с «большой» историей и литературой, что объясняется и географическим положением нашего края, и его историей, убедительно иллюстрируется судьбами писателей XX века, связавших Воронеж со всем миром – А. Платонов, И. Бунин, Е. Замятин, Б. Эйхенбаум, С. Маршак и многие другие. Но и особенности местной жизни, конкретная история, реальные биографии обретают дополнительный смысл в контексте общей культурной проблематики.

Познавательные, исследовательские горизонты, открывающиеся в разработке «локальных текстов», продиктовали тему третьего сборника – ««Воронежский текст» русской культуры: страницы истории и современность» (2015). Она естественно расширяла границы изучения в историческом контексте за

счет естественного желания посмотреть на культуру родного края с некоторой дистанции – временного, культурного и исторического опыта, запечатленного литературой, живописью, сохранившегося в библиотечных собраниях.

Перечисленными сборниками обозначены этапы формирования той идеи, которая легла в основу последнего по времени, четвертого, сборника ««В краю отеческой привязанности»: образы и легенды Центрального Черноземья в XX веке». Платоновские слова, определившие смысловое и эмоциональное звучание центральной темы конференции, проведенной в октябре 2015 года Воронежским государственным университетом совместно с ИМЛИ РАН (Москва) при поддержке Департамента культуры Воронежской области, выбраны не случайно. С одной стороны, они фиксируют многолетнюю работу воронежской филологической школы по изучению творчества А.П. Платонова и И.А. Бунина, давнее сотрудничество с Платоновской группой ИМЛИ РАН РФ кафедры русской литературы XX–XXI веков Воронежского государственного университета, с другой – обозначают новые горизонты, казалось бы, уже освоенной проблематики не в краеведческом плане. Конференция ««В краю отеческой привязанности»: образы и легенды Центрального Черноземья в XX веке» по тематике вышла за пределы только платоновских или бунинских сюжетов. Она открывает возможности широкого гуманитарного сотрудничества лингвистов и литературоведов, фольклористов и культурологов в изучении близкого всем объекта исследования Центрального Черноземья – его образов, истории, культуры, мифологии.